

СНЫ

Психологи – а особенно психиатры – говорят, что все ночные кошмары имеют какую-то реальную причину. Я это и без них знаю. У меня все причины как на ладони. Я имею в виду не эти мелкие бытовые кошмары, которые могут каждому запросто ни с того ни с сего присниться. Нет – те, другие, настоящие, которых и у меня за всю жизнь было-то всего лишь три.

Последний – типично профессиональный кошмар, относящийся к поре моего студенчества, наиболее упорный – снился чаще всего. Но, прежде чем о нем говорить, нужно кое-что пояснить. Правда, я опасаясь, что и после разъяснений большинство из вас воскликнет в разочаровании – да какой же это кошмар? это и не кошмар вовсе! Но тут, вообще-то, мне решать. Если я говорю кошмар, значит – кошмар и есть.

Выпускной экзамен в нашем училище, в общем-то, был отдохновением души: комиссия терялась где-то среди публики, там, в зале. А публика это кто? Это, в общем-то, обычные люди, такие же бедолаги, как и ты, которые или уже отыграли свои экзаменационные программы, или еще будут их играть – неважно, в этом году или в следующем, но когда-нибудь обязательно будут. И родители всех нас. Люди, которые как-то за нас волнуются, переживают – которым не безразлично. А комиссия это совсем другое. Это их сейчас незаметно там, в зале. А на всех предыдущих экзаменах и зачетах ты выходил в пустой зал, поднимался на сцену и когда кланялся во внезапно наступившей тишине, волей-неволей бросал взгляд туда... Где они... Довольно далеко от тебя – сохраняют дистанцию: не дотянуться. И немного так справа от тебя: чтобы им все лучше видно было. Твои пальцы. И какие ты движения неловкие в трудных местах делаешь, локти подбрасываешь, или как у тебя первый палец плохо подгибается. Или, наоборот, разгибается. И не первый, а пятый. Или все вместе. Или какая у тебя педализация неловкая, как ты от волнения забыл ногу на педали – и она у тебя словно приросла, но дрожит такой крупной дрожью, аж подпрыгивает, а оторвать ты ее не можешь, особенно левую. От правой все в грязи тонет, а от левой – будто под одеялом играешь. Но оторвать не можешь: тут не до мелочей, лишь бы не сбиться. Если подумаешь, что в каком-то месте главное не сбиться – обязательно собьешься. И перед выходом на сцену лихорадочно так на столе начинаешь вступление проигрывать. А на столе клавиш-то нет. Начинаешь сбиваться и застревать. Может быть, ты даже беззвучно в артистической клавиши шупаешь, но нажимать их все равно не моги – за дверью кто-то уже там, на эшафоте, слышишь, играет, а ты следующий, и тут тебя вдруг прошибает пот – ты же совершенно не помнишь, куда дальше и каким пальцем! Как же там было в этом месте и как с ним теперь будет? И портфель где-то далеко, в классе, и уже не добежать. Или там, в портфеле, нот вообще нет. И тут только одно средство – на руки не смотреть, а глаза прищурить, чтобы клавиатура как в тумане виднелась – и вперед, без страха и сомнений... Быстро так выйти, кое-как поклониться и броситься к роялю, не раздумывая, пока страх не вполз...

А там это жюри. Они сидят веселые, о чем-то оживленно беседуют. Кивают тебе – так, между прочим: мол, это ничего, что ты помешал, что там у тебя? ну, тогда присаживайся что ли и начинай! – и обязательно кто-то из них хихикнет. Может быть, даже твой родной педагог. Это он так от тебя, значит, заранее абстрагируется: мол, если что – я тут как бы и ни при чем. Не верит, значит. Шкуру свою спасает, предатель. Ну, погоди! ежели что, тебе, моему дорогому и горячо любимому, мало тоже не покажется. А что, неплохой вариант – вот так взять – и завалиться позорно, по полной программе – и его с собой на дно утащить!..

А ведь они разговаривать и хихикать не перестанут – может, разве что для виду в самом начале, чтобы ты вообще заиграл. А потом можно за старое – им же и так сразу все ясно, с первых твоих нот. А программа у тебя длинная. Чем им заниматься там, вдалеке от тебя, посередине зала, если программа у тебя длинная, а им сразу и так все ясно? И ты играешь в совершенном неведении, по какому там поводу веселье, над чем они там приглушенно, но заразительно смеются. Только думаешь – боже праведный, может, все-таки, не надо мной? А ведь ты еще собирался что-то такое с этой музыкой сделать, как-то так глубоко и прочувствованно ее исполнить, чтобы сердца вздрогнули, а головы склонились и застыли в благоговении... Но тут даже твое сердце не вздрогнуло, а просто в комок сжалось: стыдно, стыдно, зачем я здесь, вот все это – кому? к чему?..

А при поступлении в консерваторию... тут уж вообще кошмар. Конечно, тебе об этом рассказывали тысячу раз, но все равно, это действует, только когда ты сам. Ты выходишь на сцену Малого зала из-за кулис. А это он только так называется – Малый, а он для тебя очень даже большой. Большой зал, в котором тебе надо играть. А в зале – никого! Совсем. Свет приглушен, прожектора направлены на сцену. И клавиши так отвратительно блестят, как зубы красотки на пошлой рекламе, прямо слепят. Такие гладкие, скользкие. Рояль плотоядно щерится, весь сверкает от нетерпения. Но ведь такой родной – он же твое единственное спасение, единственный друг тут, среди всех этих... Ты кланяешься и вглядываешься в сумрак зала, но там – пусто. Жуть! И вдруг сверху, прямо с небес, раздается омерзительный скрипучий голос, который гнусаво, с незабываемо брезгливой интонацией произносит: «...жалуйста, можете начинать!» И на душе сразу становится еще мерзее. Сколько их там? И этот – Великий Гудвин – там, на галерке, не отваживающийся показать тебе свое лицо! Его Высочайшей Милостию тебе, наконец, дозволяется прикоснуться к инструменту и попытаться на какое-то время забыть об этом страшном унижении, в постоянном ожидании удара хлыстом – хлопка чьих-то бесстыжих ладоней, который прервет твою игру, и того же серого безжизненного голоса – продляющего твою пытку («достаточно, дальше!») или же обрывающего ее – тогда уже без «дальше»...

Но все это – еще никакой не сон! Именно так и было наяву. А во сне происходило почти то же самое: менялась только одна маленькая деталь... Я выхожу на сцену. Я чувствую себя довольно уверенно: подготовлен я, в общем-то, сносно. В зале, как всегда, ни души: одни педагоги. Сажусь за инструмент, собираюсь начать – и вдруг мне становится ясно, так совершенно ясно! – что одно произведение из программы я... не то, что плохо подготовил – я его даже вообще и не готовил. Я его в глаза не видел! Или видел когда-то и начинал разбирать, а потом упустил из виду, как-то начисто забыл, что придется же его играть! И, конечно же, наизусть...

Не знаю, можно ли обычному нормальному человеку объяснить, в чем, собственно, состоит кошмар. В конце концов, что тут такого? Ну, встанешь и скажешь, подавляя нервный смехок: видите ли, тут такое недоразумение... уж не знаю, как это получилось, но я одну вещичку как-то взял и забыл выучить... вернее, даже не забыл выучить, а забыл начать учить... вы меня простите, так уж получилось...

Ан нет! Этого никак не возможно сказать. Может, если б в зале люди были, то еще можно было бы: все-таки как-то неудобно перед людьми, они же тебя послушать пришли. Но ведь там – комиссия! Им все равно, они только того и ждут, что ты сдашься и упадешь, чтобы со смехом, с гиканьем и улюлюканьем накинуться, разодрать, затоптать... Во сне ты точно никак не сможешь этого сказать. А в жизни и подавно бы не смог. И вот – сидишь, обреченно играешь, пытаешься хоть чуть-чуть продлить мгновение, отсрочить ту минуту, когда ты неизбежно упрешься в то, что дальше тебе сыграть уже будет нечего...

Другой кошмар, который также регулярно повторялся, был намного примитивнее. Видно, подсознание сигнализировало мне о каком-то беспорядке с зубами. Я спал, и челюсти во сне страшно сжимались. То есть, я не знаю, сжимались ли они, когда я спал, или только во сне мне так казалось. Так или иначе, я пытался их разжать. Я просто пытался их разжать, но они сжимались тем сильнее, чем больше я старался. Я делал страшные усилия, и верхняя челюсть как-то неловко заходила за нижнюю, я пытался ее освободить, и тут зубы начинали крушиться.

Этот мой скрежет зубовой... Он отдавался эхом в аду – там скрежещут зубами, оказывается, вовсе не от боли, а потому, что такова сама эта адава мука. «Ибо аз есмь грешен, блуден и нечист вельми...»

Так что, скажу я вам, как только зуб за зуб, тут самое главное – не дожидаться, пока око за око, а во чтобы то ни стало проснуться. Скрежеща зубом и скрипя сердцем...

Третий относится к порою моего детства. Он снился мне только однажды. Но мне и одного раза оказалось вполне достаточно, чтобы помнить до сих пор. Сколько мне было тогда – пять? шесть? А может, восемь? Не важно. Думаю, всем советским детям, насмотревшихся фильмов про войну, хоть раз снилось что-то подобное. Начала не помню. Помню только скамейку в скверике, на маленьком таком холмике неподалеку от нашего дома. Такого скверика и такого холмика около нашего дома не было, но во сне все было привычным местом наших прогулок, знакомым и родным. На скамейке я сижу вместе с мамой. Даже тогда чувствовал, какая она молодая, полная жизни, хотя как всегда спокойная и светлая. И скамейка такая уютная, старая и деревянная, с деревянной изогнутой спинкой и кое-где облупившейся темно-зеленой краской, которую так приятно отколупывать. А потом к нам подходят фашисты. Как положено – в форме и с автоматами наперевес. Мне стало сразу так страшно! Очень... Но я совершенно не удивился, хотя даже в том сне никакой войны вокруг и не пахло. Я ведь знал, что немцы всегда близко, они никуда не исчезли и могут объявиться каждую минуту – где угодно.

И вот мама спокойно кивнула мне, или тихо что-то сказала, или просто слегка ласково подтолкнула, но я сразу понял и скользнул за скамейку. Мама откинула руку на спинку и чуть-чуть свесила ее ко мне, как бы успокаивая – что она про меня не забыла. Фашисты подошли, что-то сказали – конечно, на чистом русском. Я животом почувствовал, что происходит что-то ужасное и непоправимое. Я бросил маму и скользнул по холму вниз. И в ту же секунду обернулся – звука выстрела не было, но я знал, что выстрелили. Мама сидела как прежде, и рука ее свешивалась как прежде. Но я понял, что все теперь изменилось навсегда, и никогда уже ничего хорошего не будет. Я проснулся сразу, не закричав и не заплакав, крик застрял где-то по дороге, так же, как и звук выстрела. Мне кажется, я проснулся даже до выстрела и до крика, как будто после я бы уже совсем не проснулся.

Эта картина остановилась во мне, но не так, как стоп-кадр – да и откуда бы мне тогда знать, что такое стоп-кадр? – в ту пору даже телевизор был в новинку. Нет, все застыло, как в страшных сказках, когда не успеваешь закончить движение, и замираешь на лету, а время уже остановилось. Это не могло превратиться ни в стоп-кадр, ни в картинку, ни в фотографию – потому что в это мгновение я сам замер навсегда в этой позе скольжения с холма, я застыл на бегу, вне всякого равновесия, с еще не опущенной на землю ногой и в размахе рук – навсегда. Голова в пол-оборота, рот в судороге немого крика – только бежать невозможно, да уже и некуда, и незачем, жизнь просто прекратилась в то же самое мгновение...

Реальность, которая окружала меня, когда я проснулся, была вовсе не настолько реальна, чтобы по-настоящему защитить. И я ей не поверил. Она не принесла ни облегчения, ни покоя. А это застывшее на лету мгновение длится и поныне, хотя оно не было прекрасно, и я не просил его продлить.

Мюнхен, 2006